

**Загадка Зимнего дворца.
Книга 2.
Тень Севастополя**



Владимир Кожедеев

Исторические детективы

Владимир Кожедеев

**Загадка Зимнего дворца.
Книга 2. Тень Севастополя**

«Автор»

2026

Кожедеев В.

Загадка Зимнего дворца. Книга 2. Тень Севастополя /
В. Кожедеев — «Автор», 2026 — (Исторические детективы)

Прошлое не умирает. Оно ждет в темноте, дышит в сырых подвалах, шепчет из-за спины, скрипит половицами в старых домах. Оно приходит в письмах без подписи, в выстрелах на балах, в фигурах, которые тают в тумане, оставляя после себя только запах пороха и крови. Статский советник Алексей Загорский, начальник Особой канцелярии при Министерстве юстиции, думал, что самые страшные дела остались позади. Он ошибался. На балу у графа Шувалова убит барон фон Розен — дипломат, при котором находилось зашифрованное письмо из Берлина. Убийца скрылся. Шифр исчез. А вслед за ним — потянулась ниточка, ведущая в Крымскую войну, в забытые подземелья, в тайны, которые отец Загорского унес с собой в могилу. Или не унес? Таинственный «полковник Лекок», охотящийся за архивом агентурной сети «Сфинкс». Французский шпион Дюбуа, который двадцать лет ждал своего часа, чтобы отомстить роду Загорских. Граф Панин, старый вельможа, чья честь внезапно оказывается под сомнением. И пристав Вахрамеев — тот, кто первым...

© Кожедеев В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Новый чин - новые заботы	5
Глава 2. Смерть на балу	9
Глава 3. Ключ из прошлого	13
Глава 4. Парижский след	18
Глава 5. Под прицелом	24
Глава 6. Тайна отца	31
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Загадка Зимнего дворца.

Книга 2. Тень Севастополя

Глава 1. Новый чин - новые заботы

Кабинет начальника Особой канцелярии располагался в здании Министерства юстиции, на набережной Фонтанки, — три окна во двор, высокая дверь красного дерева, кафельная печь, что топилась дважды в день, и тяжелые портьеры цвета увядшей зелени. Загорский сидел за письменным столом, разбирал утреннюю почту, и чувствовал себя почти чужим в этом кабинете, хотя минуло уже две недели с тех пор, как он вступил в должность.

Пахло здесь не так, как в его прежней комнатухе на Лиговке. Там пахло дешевым табаком, сыростью и старыми папками — запахом настоящей работы. Здесь пахло полировкой, воском и чем-то еще, неуловимым, от чего хотелось расстегнуть воротник и ослабить галстук. Запахом власти, понял он вдруг. Именно так пахнет власть — скучно и чисто.

Он открыл очередную папку. Дело о подделке векселей в купеческой управе — почерк явно ученический, резные буквы, слегка дрожащая линия. Загорский пробежал глазами показания свидетелей, кивнул своим мыслям, отложил папку в сторону. Под ней лежала другая — о краже в Сибирском банке на Невском. Тоже не бог весть что: кассир, проигравшийся в карты, вынес из сейфа десять тысяч, подставил сослуживца, но запутался в показаниях. Дело дохлое, ясное.

Он вздохнул, откинулся на спинку кресла, потер переносицу. Две недели — и ни одного серьезного дела. Мелкие кражи, бытовые убийства, мошенничества. То, с чем прежде он справлялся за день-два, теперь занимало уйму времени из-за бумажной волокиты, рапортов, утверждений. Начальник не может сам бегать по городу, напомнил он себе. Начальник руководит.

Но что-то зудело под ложечкой. Скучал. Пять лет опасностей, погонь, ночных засад — и вдруг тишина. Спокойствие, к которому он столько стремился, оказалось невыносимым.

В дверь постучали. Вошел Егоров — в новом мундире коллежского регистратора, сияющий, подтянутый. Он теперь не просто городской, а чиновник особых поручений при канцелярии. Загорский настоял. Егоров был единственным, кто не раздражал его своим присутствием.

— Ваше превосходительство, — доложил он, вытягиваясь. — В приемной ждут. По делу о векселях. Купец пришел, извиняется, говорит, что сам ошибся, никакой подделки не было.

— Так я и поверил, — усмехнулся Загорский. — Пусть пишет заявление об отзыве жалобы. Бумаги я подготовлю.

— Слушаюсь.

Егоров хотел уйти, но Загорский остановил его взглядом.

— Скучно, Егоров?

— Никак нет, ваше превосходительство. Работы много.

— Работы много, а дела нет. — Загорский встал, подошел к окну. — То, чем мы сейчас занимаемся, — не дело. Это переключивание бумаг. А я, знаешь, привык к другому.

— Потерпите, ваше превосходительство. Не может быть, чтобы в Петербурге не случилось чего по-настоящему важного.

— Может, — сказал Загорский, глядя на серое небо за окном. — Может, и не случится. И тогда что? Всю жизнь векселя разбирать?

Егоров промолчал. Он знал характер начальника — тот не ждал ответа, он размышлял вслух. Загорский постоял еще немного, потом вернулся к столу, взял следующую папку.

— Ладно. Свободен. Но если поступит что-то серьезное — сразу ко мне.

— Слушаюсь, ваше превосходительство.

Загорский остался один. Часы на каминной полке отбивали полдень. Где-то внизу хлопали двери, гремели шаги — канцелярия жила своей жизнью. А он сидел, смотрел на бумаги и думал о том, что когда-то, в Крыму, под пулями, жизнь была проще. Там он знал: враг — вон за тем холмом. А здесь враг сидел в этих папках, прятался за строчками рапортов, и победить его можно было только терпением, которого у Загорского всегда было в обрез.

Он вздохнул и потянулся за следующим делом.

Дом на Фонтанке, казенная квартира, которую выделили Загорскому вместе с должностью, был просторным, светлым, с высокими потолками и паркетом, который скрипел на разные голоса, смотря по тому, кто по нему ходил. Анна, будучи на шестом месяце, ступала тяжело, размеренно — паркет стонал под ней басом. Лиза бегала вприпрыжку — половицы отзывались звонким перестуком, похожим на детский смех. Петр, годовалый, топал неуверенно, и каждый его шаг сопровождался сонным поскрипыванием, словно паркет дремал вместе с ним.

Загорский любил этот звук. Возвращаясь со службы, он слышал его еще в прихожей, и сердце оттаивало. Семья была здесь, живая, шумная, его.

— Папа! Папа пришел! — Лиза бросилась к нему, повисла на руке. — А я сегодня букву "А" написала! Сама! Смотри!

Она потащила его в детскую, где на столе лежал тетрадный лист с корявыми, но старательными каракулями. Загорский склонился, похвалил, поцеловал дочку в макушку. Та пахла яблоками — всегда, с самого рождения, этот запах не выветривался.

— А где мама?

— Мама в гостиной, чай пьет с бабушкой и дядей Карлом.

Загорский прошел в гостиную. Анна сидела в кресле у окна, положив руки на круглый живот. Беременность шла тяжелее, чем в прошлый раз, — бледность не сходила с лица, под глазами залегла синева. Но когда она увидела мужа, улыбнулась, и всё прошло.

— Устал? — спросила она, протягивая руку.

— Устал, — признался он, целуя ее пальцы. — От бумаг. От скуки.

— Со скукой я тебе не помощник, — усмехнулась она. — А вот бабушка — да.

Елена Карловна сидела у стола с вязанием в руках — носки для внука, который должен был родиться к осени. Она заметно помолодела за последний год, словно возвращение брата и жизнь в достатке стерли с ее лица годы тревог и одиночества.

— Налей себе чаю, Алеша, — сказала она не оборачиваясь. — И садись. Ужин через час.

Дядя Карл — теперь Карл Иванович, скромный немецкий коммерсант с безупречными документами — сидел в углу с книгой. Он поднял глаза, кивнул, но не сказал ни слова. За последние месяцы он научился молчать так, чтобы его присутствие не давило. Он был здесь, но как будто не здесь — тень, охраняющая покой семьи.

Загорский налил чаю, сел рядом с женой, взял ее за руку.

— Как ты себя чувствуешь?

— Хорошо. Только устаю быстро. И Петр не дает спать по ночам — режет зубы, кричит.

— Может, пригласить доктора?

— Доктор сказал, что всё в порядке. Не волнуйся.

Она говорила это спокойно, но Загорский видел — она боится. После смерти мужа — первого мужа — она боялась потерять и этого. Боялась родов, боялась оставить детей сиротами. Он знал это, но не знал, как утешить. Словами нельзя было убрать этот страх.

— Лизу сегодня водили в гости к соседям, — сказала Анна, меняя тему. — Там девочка ее возраста, подружались. А Петр научился говорить "дай".

— Дай — это хорошо, — улыбнулся Загорский. — Скоро будет "нет", и начнется настоящая жизнь.

Она засмеялась, и смех этот был легкий, как пух. Загорский подумал: ради этого смеха стоило жить. Ради него стоило просыпаться по утрам, тащиться на службу, разбирать скучные дела. Ради него он готов был на всё.

Княжна Орлова вернулась в Петербург неожиданно — без предупреждения, без писем, просто объявилась однажды утром на пороге их квартиры, с двумя чемоданами и маленькой собачкой на руках.

— Я больше не могу в Париже, — сказала она, целуя Анну в щеку. — Надоело. Французы скучные, а русские — нет. И потом, я соскучилась.

Княжна изменилась. Исчезла та надломленность, та тень брата-преступника, которая преследовала ее год назад. Теперь она держалась ровно, спокойно, говорила негромко, но весомо. Парижская жизнь, свобода от светских условностей сделали свое дело — она стала самой собой.

Она сняла небольшую квартирку на Мойке, недалеко от Исаакия, и сразу принялась за дело, о котором давно мечтала: благотворительный приют для детей-сирот. Деньги — часть наследства, оставленного братом (то, что не конфисковали), — позволили ей нанять дом на Васильевском острове, пригласить докторов, учителей, кухарок. Приют открылся в начале весны и сразу привлек внимание — слишком громкое имя стояло за ним.

Загорский узнал об этом от Анны.

— Катя теперь знаменитость, — сказала она за ужином. — В газетах пишут. Благотворительный комитет ее хвалит. Даже графиня Шувалова пожертвовала тысячу рублей.

— Шувалова? — переспросил Загорский, нахмурившись. — Та самая?

— Та самая. У нее свои счета с совестью, наверное. Или просто деньги девать некуда.

Княжна пригласила их на открытие приюта, но Загорский не пошел — служба. Анна пошла одна, вернулась поздно вечером, взволнованная.

— Там было много людей, — рассказывала она. — И чиновники, и купцы, и даже один генерал. Но что странно... Я заметила, что за Катей следят.

Загорский насторожился:

— Кто?

— Не знаю. Человек в сером пальто. Он стоял на противоположной стороне улицы, смотрел в окна. Когда я вышла, он отвернулся и быстро ушел.

— Может, репортер? Или полицейский?

— Нет, — покачала головой Анна. — Не похоже. У него было лицо... злое. Такое, знаешь, когда человек долго ждет и ненавидит то, на что смотрит.

Загорский пообещал разобраться. На следующий день он отправил Егорова проверить — понаблюдать за приютом, выяснить, кто интересуется княжной. Егоров вернулся ни с чем — человек в сером пальто исчез. Но Загорский знал: такие не исчезают навсегда. Они ждут.

Прошла еще неделя. Загорский по-прежнему тосковал по настоящей работе. Дела о векселях и кражах множились, он разбирал их с привычной быстротой, но душа просила другого — того, от чего замирает сердце, того, что заставляет забыть о сне и еде.

Однажды вечером, вернувшись домой, он застал дядю Карла в кабинете. Тот сидел за столом, перебирал старые бумаги — свои, немецкие, которые привез из Дрездена. На лице его была написана тревога.

— Что-то случилось, дядя? — спросил Загорский, закрывая дверь.

— Письмо, — ответил Шмидт, протягивая конверт. — Пришло сегодня. На имя твоего отца.

Загорский взял конверт. Адрес: «Петру Ильичу Загорскому, Санкт-Петербург, Фонтанка, казенная квартира». Обратного адреса нет. Почтовый штемпель — Петербург, вчерашнее число.

— Отец умер шесть лет назад. Кто мог прислать?

— Открой, узнаешь.

Загорский вскрыл конверт. Внутри — лист плотной бумаги, исписанный каллиграфическим почерком, незнакомым, но отточенным, как у писца.

«Многоуважаемый Петр Ильич!

Прошло много лет, но я помню нашу встречу в Берлине. Помните тот вечер, когда вы сказали мне: "Всё, что мы делаем, мы делаем для будущего"? Теперь это будущее наступило. Нам нужно встретиться.

Я знаю, что вы живы. Я знаю, где вы. Приходите завтра в полночь на Смоленское кладбище, к старому склепу. Спросите "друга из Берлина".

Я жду».

Загорский перечитал письмо дважды, потом поднял глаза на дядю.

— Что это значит? Кто-то считает, что отец жив?

— Или хочет, чтобы мы так думали, — ответил Шмидт. — Это ловушка. Кто-то знает о твоей семье больше, чем должен.

— Вы знаете этого человека? "Друг из Берлина"?

— Берлин — большой город. У твоего отца было много знакомых. Но одно я знаю точно: если кто-то назначает встречу на Смоленском кладбище в полночь, он не желает добра.

Загорский спрятал письмо в карман.

— Я пойду.

— Я с тобой, — сказал Шмидт. — И не спорь. Это моя война не меньше, чем твоя.

Они смотрели друг на друга, и в этом взгляде было всё — память о прошлом, страх за будущее и решимость, которую не сломить.

— Завтра в полночь, — сказал Загорский. — Будем готовы.

Ночью он долго не спал. Лежал на спине, глядя в потолок, слушал дыхание Анны. Она спала беспокойно, ворочалась, тихо стонала во сне — ребенок давил на внутренности. Загорский погладил ее по плечу, поцеловал в висок.

— Ты не спишь? — прошептала она.

— Нет. Думаю.

— О чем?

— О разном. О службе, о семье, о будущем.

Она повернулась к нему, положила голову на грудь.

— Алеша, я боюсь.

— Чего?

— Сама не знаю. Но с недавних пор мне кажется, что за нами следят. Что-то надвигается. Что-то темное.

— Это беременность, — попытался успокоить он. — Нервы.

— Нет, — твердо сказала она. — Не только. Я чувствую. Я женщина, я мать, я чувствую опасность за версту.

Он не знал, что ответить. Потому что сам чувствовал то же самое.

— Ничего с нами не случится, — сказал он наконец. — Я обещаю.

— Не обещай того, что не можешь сдержать, — прошептала она. — Просто будь рядом. Это всё, что мне нужно.

Они замолчали. За окном шумела ночная Фонтанка, где-то лаяли собаки, цокали подковы запоздалого извозчика. Петербург жил своей жизнью, полной тайн и опасностей.

Загорский лежал с открытыми глазами и думал о завтрашней ночи. О письме, о Берлине, об отце, которого не было в живых. И о том, что кто-то, очень хитрый и терпеливый, плетет сеть, в которую они вот-вот должны попасть.

Он не знал кто. Но знал, что встретит его лицом к лицу. И тогда решится всё.

Глава 2. Смерть на балу

Приглашение на бал к графу Шувалову лежало на столе Загорского уже три дня — тяжёлый картонный прямоугольник, тиснёный золотом, с вензелями и витиеватой подписью: «Его сиятельство граф С. П. Шувалов покорнейше просит пожаловать». Загорский перечитал его дважды, потом отложил и больше не вспоминал. Светские рауты были не его стихией. Он предпочитал тесные кабинеты, запах табака и погони в ночных переулках — там, где не было места церемониям и веерам.

Но граф Панин, вызвав его накануне, сказал коротко: «Поедете. И не просто так. На балу будет пол-Петербурга. Ваше присутствие — знак. Люди должны знать, кто теперь возглавляет Особую канцелярию». Загорский не спорил. Он научился не спорить с начальством, особенно когда оно право.

И вот теперь он стоял в прихожей своей квартиры на Фонтанке, перед зеркалом в тяжелой раме, и поправлял фрак. Чёрное сукно, белоснежная сорочка, запонки с агатом — подарок Анны на прошлое Рождество. Сзади маячил Егоров, тоже парадный, при шпаге, хотя оружие на балах не приветствовалось. Загорский настоял: «Мы на службе, даже когда в гостях».

— Галстук криво, ваше превосходительство, — заметил Егоров.

— А ты, смотрю, щёголь, — усмехнулся Загорский, поправляя узел. — Жена научила?

— Так точно. Она у меня из бывших портних, в этом толк знает.

— Счастливый ты человек, Егоров. С женой, с детьми. А я вот на бал, как на каторгу.

— Зато Анна Григорьевна рада будет отдохнуть без вас, — осторожно заметил Егоров. — Говорила вчера, что вы ей спать не даёте — всё ворочаетесь, всё думаете.

Загорский промолчал. Анна права — он не спал третью ночь. Всё думал о письме из Берлина, о таинственном «друге», который назначил встречу на Смоленском кладбище и не явился. Загорский прождал два часа, промёрз до костей, но вместо человека в сером пальто нашёл только заиндевевший венок на чьей-то могиле и следы, замётённые позёмкой. Дядя Карл, стоявший в отдалении, сказал потом: «Он передумал. Или проверил, пришли ли мы. Такие, как он, не любят рисковать».

Письмо положили в сейф. Но тревога осталась.

— Пора, — сказал Загорский, накидывая шинель. — Карета ждёт?

— У подъезда.

Они вышли. Ночь была морозная, ясная — такая, когда звёзды кажутся ледяными гвоздями, вбитыми в небо. Дышать было больно, но приятно. Фонари горели ровно, не мигая, и тени на снегу лежали чёрные, резкие.

Карета покатила по набережной, застучала копытами по мостовой. Загорский смотрел в окно на проплывающие мимо особняки, ограды, решётки Летнего сада. Петербург ночью был красив — холодной, опасной красотой. Как женщина с пистолетом в муфте.

— Ваше превосходительство, — спросил Егоров после долгого молчания. — А что, если на балу что-то случится? Я к тому, что там важные люди, а мы без оружия.

— Оружие будет, — ответил Загорский, похлопав по карману сюртука. — Маленькое, но верное.

Егоров понимающе кивнул и больше не задавал вопросов.

Особняк Шуваловых на набережной Фонтанки сиял огнями, как рождественская ёлка. У подъезда толпились кареты, кучера кутались в тулупы, лошади били копытами, высекая искры из брусчатки. Парадная лестница была устлана ковром, перила увиты живыми цветами — в феврале, среди лютого мороза, это выглядело почти неприлично, но граф Шувалов любил роскошь. Говорили, он выписывал орхидеи из самой Бразилии.

Загорский и Егоров сдали шинели в гардеробе, поднялись на второй этаж. Бальный зал поражал воображение: огромный, в три света, с хрустальными люстрами, зеркалами в золочёных рамах и лепниной, изображавшей амуров и пастушек. Гремел оркестр, кружились пары, мелькали мундиры, фраки, шелка.

Загорский сразу почувствовал себя чужим. Он не умел танцевать, не знал новейших сплетен, не разбирался в моде. Но он умел другое — смотреть. Он встал у колонны, взял с подноса бокал шампанского и начал наблюдать.

Граф Шувалов — хозяин дома — был тучен, красен лицом, говорил громко и хохотал ещё громче. Он метался по залу, пожимал руки, хлопал по плечам, и каждое его движение напоминало ужимки ярмарочного скомороха. Рядом с ним жена, молодая графиня с печальными глазами, казалась статуей — красивой, но безжизненной. Загорский вспомнил историю, которую рассказывала Анна: ходили слухи, что графиня несчастлива в браке, что у неё есть тайный поклонник. Сплетни, конечно. Но сплетни иногда оказываются правдой.

— Ваше превосходительство, — шепнул Егоров, возникнув за плечом. — Я тут прошёлся по комнатам. Всё тихо. Но один лакей сказал, что барон фон Розен, из Министерства иностранных дел, сегодня в ударе — всех поздравляет, много пьёт. Вон он, у буфета.

Загорский посмотрел в указанном направлении. Барон фон Розен оказался высоким, худощавым стариком с бакенбардами и орлиным носом. Он стоял у стола с закусками, держал в руке рюмку и говорил что-то соседу — молодому дипломату в синем мундире. Лицо барона было оживлённым, даже весёлым, но глаза... глаза смотрели с тоской. Загорский знал этот взгляд — у человека, который давно устал жить, но продолжает из привычки.

— За ним наблюдают, — заметил он.

— Кто? — не понял Егоров.

— Вон тот, в сером. У колонны. Видите?

Егоров присмотрелся. У мраморной колонны стоял человек в невзрачном сюртуке, с бокалом в руке, но не пил. Смотрел на барона. Неотрывно, как удав на кролика.

— Может, охрана? — предположил Егоров. — Барон всё-таки важная птица.

— У охраны другие повадки. Этот — ждёт. Чего-то или кого-то.

Загорский хотел подойти ближе, но в этот момент оркестр заиграл польку, толпа закружилась, и человек в сером исчез. Растворился, как дым.

«Петербург», — подумал Загорский. — «Город теней».

В полночь был ужин. Столы ломились от яств — осетрина, рябчики, трюфели, шампанское лилось рекой. Загорский сел в конце стола, рядом с незнакомым генералом, который тут же начал жаловаться на дороговизну дров. Егоров пристроился где-то в другой стороне, но Загорский то и дело ловил его взгляд — верный пёс, всегда начеку.

Всё шло своим чередом. Тосты, смех, звон посуды. Граф Шувалов произнёс речь о благоденствии России, министр иностранных дел ответил о европейском равновесии. Скучно, подумал Загорский. До зевоты.

А потом грянул выстрел.

Он был негромким — из-за музыки, смеха, шума его почти не слышали. Но Загорский услышал. Он вскочил, опрокинув бокал. Егоров уже был на ногах.

— В малую гостиную! — крикнул кто-то.

Они побежали туда, расталкивая гостей. Малая гостиная оказалась небольшой комнатой с зелёными стенами, камином и портретами предков. На полу, у раскрытого окна, лежал барон фон Розен. Кровь растекалась по паркету, впитывалась в ковёр, пахло порохом и ещё чем-то сладким — дорогим одеколоном.

— Не трогать! — приказал Загорский, подбегая. — Егоров, закрой дверь! Никого не впускать!

Он опустился на колени рядом с телом. Барон был мёртв — пуля вошла в левую сторону груди, навывлет. Оружия рядом не было. Убийца исчез, выпрыгнув в окно? Смешавшись с толпой? Загорский выглянул наружу — внизу, под окном, был сад, заметённый снегом. Следы вели к ограде.

— Всё, — сказал он, поднимаясь. — Зовите полицию. И графа Шувалова. Пусть никого не выпускают.

Допросы заняли несколько часов. Загорский лично опросил всех, кто был рядом с бароном перед смертью — лакеев, гостей, дипломатов. Но никто ничего не видел. Барон вышел из-за стола, сказал, что хочет проветриться, и пошёл в малую гостиную. Через пять минут грянул выстрел. И всё.

— Как же так? — недоумевал граф Шувалов, бледный, трясущийся. — У меня в доме! Среди гостей! Это неслыханно!

— Вы знали барона? — спросил Загорский.

— Конечно! Старый знакомый, сослуживец. Он был... был в ударе сегодня. Весёлый, говорлив. А теперь... — Шувалов всхлипнул, но скорее от испуга, чем от горя.

— У него были враги?

— Господь с вами! Дипломат... у дипломатов всегда есть враги. Но чтобы так...

Загорский не стал больше расспрашивать. Он прошёл в кабинет графа, где уже работал Егоров. Тот разбирал вещи барона — портмоне, часы, носовой платок, визитную. И больше ничего.

— У него при себе должно было быть письмо, — сказал Загорский. — Зашифрованное. Я слышал, как он хвастался соседу — мол, важная депеша из Берлина.

— Нет, ваше превосходительство. — Егоров развёл руками. — Обыскал всё. Нет письма. Или убийца забрал, или сам барон куда-то спрятал.

— Или отдал.

Загорский задумался. Если письмо похищено, то убийство — не просто сведение счётов. Это заговор. А если заговор — то за ним стоит кто-то, кто имеет доступ в дом графа Шувалова, кто знал, что барон будет на балу, кто знал о письме.

— Кто видел барона в последние минуты? — спросил он.

— Лакей, который подавал ему вино. Он говорит, что барон был один.

— А человек в сером?

— Исчез. Никто его не помнит, не знает. Как сквозь землю провалился.

Загорский подошёл к окну. В саду уже работали полицейские, освещая следы фонарями. Следы вели к ограде, а дальше — к набережной, где, наверное, ждала карета. Убийца не дурак. Всё продумал.

— Егоров, — сказал он, не оборачиваясь. — Завтра с утра начнём проверять всех гостей. Особенно тех, кто мог быть связан с бароном по службе. И найди мне того человека в сером. Он где-то здесь. Я видел его перед ужином, значит, он есть в списке приглашённых.

— Слушаюсь, ваше превосходительство. А как быть с семьёй барона? Вдове сообщили?

— Сообщат завтра. Сегодня — поздно. И страшно.

Загорский вышел из кабинета, прошёл через пустой зал — гостей уже отпустили, музыканты ушли, люстры погасили. Особняк казался вымершим. Только прислуга сновала с подсвечниками, на ходу крестясь.

В гардеробе его ждал Егоров с шинелью.

— Ваше превосходительство, — сказал он тихо. — А что, если это не просто убийство? Если это предупреждение? Кому-то?

— Кому?

— Не знаю. Но барон Розен занимался германскими делами. А тут — письмо из Берлина, шифр... Может, это связано с тем письмом, что вы получили? От «друга из Берлина»?

Загорский замер. Егоров — умница. Он связал две нити, которые Загорский пока не решался связать. Письмо отцу. Письмо барону. Берлин.

— Поехали, — сказал он. — Утро вечера мудренее.

Дома его ждали тишина и холод. Анна, беременная, утомлённая, спала в спальне, подоткнув одеяло до подбородка. Загорский постоял на пороге, посмотрел на неё, на пустую кровать Петра (мальчик спал в комнате няньки), на икону в углу.

Он не стал её будить. Прошёл в кабинет, зажёл лампу, сел за стол. Достал из сейфа то самое письмо — «друга из Берлина». Перечитал.

«Помните тот вечер, когда вы сказали мне: "Всё, что мы делаем, мы делаем для будущего"? Теперь это будущее наступило».

Что же это за будущее, за которое убивают дипломатов на балах? И почему оно пахнет порохом и кровью?

Загорский положил письмо обратно, достал чистый лист бумаги и начал писать.

«Господину послу в Берлине. Настоятельно прошу навести справки о человеке, известном под именем „друг из Берлина“. Приметы...»

Он писал долго, старательно выводя каждую букву. Когда закончил, рассвет уже заглядывал в окна — бледный, усталый, как и он сам.

Загорский встал, подошёл к окну. Фонтанка текла внизу, серая, свинцовая. Где-то на том берегу уже зажигались огни — просыпался город. Город, в котором убивают, крадут, предают. Город, который он любил и ненавидел.

— Что же ты такое, Петербург? — прошептал он. — И когда ты научишься жить без крови?

Город не ответил. Он никогда не отвечал на такие вопросы.

Глава 3. Ключ из прошлого

Следующее утро было серым и тягучим, как патока. Загорский не спал почти всю ночь — после бала, после смерти барона, после всей этой беготни по особняку Шуваловых он вернулся домой под утро, но сон не шел. Мысли путались, перед глазами стояло лицо убитого — веселое, с тоскующими глазами, а под веками мерцала, как заноза, фигура человека в сером, растворившегося в толпе.

Он подошел к окну, отодвинул штору. Фонтанка текла внизу — серая, сонная, с кромками льда у берегов. На том берегу уже зажигались огни, просыпался город. Город, в котором убивают, крадут, предают. Город, который он любил и ненавидел.

— Ты не ложишься? — раздался голос Анны.

Он обернулся. Она стояла в дверях спальни — босая, в распахнутом халате, с животом, который уже не скрыть было ничем. Лицо бледное, под глазами синева. Она смотрела на него с тревогой и усталостью.

— Не мог уснуть, — сказал он.

— Я знаю. Я слышала, как ты ходишь. — Она подошла, положила голову ему на плечо. — Что случилось на балу? Ты не рассказывал.

— Убили человека. Барона фон Розена. Дипломата.

Она вздрогнула, но не отстранилась. Она привыкла к таким разговорам, хоть и не любила их.

— Полиция расследует?

— Теперь я расследую. — Он погладил ее по волосам. — Иди спать, Аннушка. Тебе надо отдыхать. Ребенок требует сил.

— А ты?

— А я поработаю. Потом лягу.

Она подняла голову, посмотрела ему в глаза долгим, изучающим взглядом — тем, каким женщины смотрят, когда хотят понять, врет муж или нет.

— Не ври мне, — сказала она тихо. — Ты не ляжешь. Ты будешь работать весь день, потом всю ночь, а завтра утром сядешь в карету и поедешь копать в чьих-то скелетах.

Она отвернулась, пошла к двери, но на пороге остановилась.

— Знаешь, Алеша, я иногда жалею, что вышла за тебя замуж. — В голосе ее не было злобы, только усталость. — Не потому, что не люблю. Люблю. А потому, что ты не мой. Ты принадлежишь своей работе. Своим мертвецам. Своему Петербургу. А я — так, приложение.

— Анна...

— Не надо, — перебила она, не оборачиваясь. — Я знаю, что ты скажешь. Что любишь меня. Что семья для тебя главное. Но слова — это слова, Алеша. А дела — дела.

Она ушла, тихо притворив дверь. Загорский остался один. В ушах еще звенели ее слова, а перед глазами стояло ее лицо — усталое, обиженное, красивое, несмотря на бледность и синеву под глазами. Он хотел побежать за ней, обнять, сказать, что она ошибается, что он изменится, что всё будет по-другому. Но не побежал. Потому что знал: она права. Он не изменится. И она это знает.

Вздохнув, он повернулся к столу, где лежала папка с материалами дела. Дело ждало. Мертвые не терпят отлагательств.

За завтраком Елена Карловна хлопотала у самовара, поглядывая на сына с материнской тревогой. Лиза уплетала кашу, измазав щеки, и болтала без умолку о том, что их соседская девочка Катя умеет прыгать через скакалку, а она, Лиза, еще нет, но скоро научится, вот увидите. Петр сидел в высоком стульчике, подаренном княжной Орловой, и с сосредоточенным

видом размазывал по столу кашу, издавая победные крики, когда ему удавалось попасть ложкой в рот.

Анны за столом не было. Елена Карловна сказала, не поднимая глаз:

— Она неважно себя чувствует. Оставила завтрак, сказала, что поспит еще.

Загорский кивнул, не спрашивая подробностей. Он знал: она не спит. Она лежит с открытыми глазами и думает о том же, о чем думал он. О том, что между ними трещина, которую он не знает, как заделать, а она, кажется, уже не хочет заделывать.

Дядя Карл вошел в столовую бесшумно, как всегда, — тень, сотканная из седины и молчания. Он сел на свое место, налил чаю, долго смотрел в чашку, потом поднял глаза на племянника.

— Ты не спал, — сказал он не вопросом, а утверждением.

— Не спал.

— И она не спала.

— Я знаю.

Шмидт помолчал, потом сказал тихо:

— Женщины, Алеша, они как шифры. Их нельзя взломать силой. Их надо разгадывать. Терпеливо. Лаской. Иначе они замолкают навсегда.

— Вы философ, дядя, — усмехнулся Загорский.

— Нет. Я старик, который многое потерял из-за того, что не умел разгадывать. — Шмидт допил чай, поставил чашку. — Ты хотел показать мне что-то?

— Да. — Загорский достал из кармана фотографию — не снимок, а микрофильм, который он успел сделать с письма барона до того, как оно исчезло. Разумнее было бы сохранить оригинал, но он не успел — убийца опередил. Зато успел фотограф, дежуривший на балу по приказу Панина. Хозяева боялись шпионов и велели снимать всех подозрительных. А заодно — и документы, которые могли бы пригодиться.

— Вот, — сказал Загорский, протягивая микрофильм. — Это шифр. Тот самый, который был при бароне. Я успел сфотографировать, прежде чем его украли.

Шмидт взял микрофильм, поднес к свету. Долго вглядывался, щурясь. Потом лицо его изменилось — он побледнел, рука дрогнула.

— Откуда это у тебя? — спросил он хрипло.

— Я сказал. При бароне. Тот, кто его убил, забрал письмо. Но не знал, что я успел снять копию.

— Тот, кто его убил, — медленно проговорил Шмидт, — умный. Очень умный. Он знал, что письмо — улика. Но он не знал о фотографе. Это наша удача.

— Дядя, вы узнали шифр?

Шмидт положил микрофильм на стол, отодвинул чашку, налил себе еще чаю — рука его слегка дрожала. Лиза спросила что-то у бабушки, но Загорский не слышал. Он смотрел на дядю и ждал.

— Да, — сказал Шмидт наконец. — Я узнал. Это «полевой код» русской разведки образца 1854 года.

В столовой повисла тишина. Даже Лиза, почувствовав напряжение взрослых, замолчала и уставилась на дядю Карла большими испуганными глазами.

— Крымская война, — продолжил Шмидт, не поднимая глаз. — Тогда наша — не наша, а русская — разведка использовала шифры, которые менялись каждую неделю. Этот был введен в сентябре 1854 года, перед самой битвой на Альме. Я его помню. Я сам им пользовался.

— Вы? — переспросил Загорский. — Но вы тогда работали на англичан.

— Работал. Англичане перехватили этот шифр через своих агентов. И я передавал им информацию, которую русские считали секретной.

Шмидт замолчал, потом поднял глаза на племянника. В них была боль — старая, вьевшаяся, которую не смыть ни годами, ни раскаянием.

— Я знаю, Алеша, что ты думаешь. Но тогда я был другим. Молодым, злым, обиженным на весь мир. Отец отказал мне в наследстве, брат — твой отец — считал меня пустым местом. Англичане дали мне цель, деньги, веру в себя. Я был готов на всё. Даже на предательство.

— Что было потом? — тихо спросил Загорский.

— Потом была Севастопольская кампания. Я работал в тылу, собирал сведения, передавал их врагу. И тогда я впервые услышал имя «Сфинкс».

Шмидт понизил голос — так, чтобы не слышали женщины и дети, но Загорский слышал каждое слово.

— «Сфинкс» — это была агентурная сеть, которую русские создали в Севастополе. Самые лучшие агенты, самые надежные. Они работали под прикрытием, даже свои не знали всех. Их глава — человек, которого я никогда не видел, но о котором много слышал — был гением конспирации. Он знал всё о передвижениях союзников, о планах, о слабых местах. Если бы не он, Севастополь пал бы на год раньше.

— И что с ним стало? — спросил Загорский.

— Он погиб в конце 1855 года, когда Севастополь пал. Его схватили англичане и казнили. Но перед смертью он успел спрятать документы — все донесения, все коды, все имена агентов. Говорили, что этот архив — ключ к разгадке многих тайн. Если бы он попал в руки врагов, русская разведка была бы уничтожена на десятилетия.

— И куда он его спрятал?

— Неизвестно. Многие искали. Англичане, французы, даже свои. Но никто не нашел. Считалось, что архив пропал навсегда.

Шмидт отодвинул чашку, посмотрел на микрофильм, лежавший на столе.

— А теперь, — сказал он медленно, — теперь этот шифр всплывает у дипломата, которого убивают на балу. Кто-то охотится за архивом «Сфинкса». И кто-то готов убивать, чтобы его получить.

Загорский взял микрофильм, повертел в руках. Маленький кусочек пленки, на котором уместилась тайна, способная разрушить судьбы. Или погубить его семью.

— Вы знаете, кто мог быть главой «Сфинкса»? — спросил он.

Шмидт покачал головой:

— Никто не знал. Он был невидимкой. Но ходили слухи... — Он запнулся. — Нет, не хочу говорить. Это могут быть лишь домыслы.

— Дядя, — твердо сказал Загорский. — Мы не имеем права ошибаться. Если кто-то охотится за архивом, он может навредить не только мне, но и Анне, детям, княжне... Всем, кто мне дорог. Я должен знать.

Шмидт помолчал, собираясь с мыслями.

— Ходили слухи, — сказал он тихо, — что главой «Сфинкса» был твой отец. Петр Ильич Загорский.

Загорский долго молчал. В ушах шумело, в голове звенела пустота. Он смотрел на дядю, но видел его как сквозь туман — расплывчато, нереально.

— Отец? — переспросил он хрипло. — Но отец служил в гвардии, был обычным офицером. Он не мог...

— Мог, — перебил Шмидт. — Он мог. Твой отец был не тем, кем казался. Он был разведчиком, Алеша. Один из лучших. И я предал его.

— Что?

— Я не знал тогда, что «Сфинкс» — это он. Я передавал англичанам шифры, которые они перехватывали. Я помогал врагам, не зная, что бью по своему брату. А когда узнал, было поздно. Петра схватили. Его пытали. И он... он умер, так и не выдав никого.

Глаза Шмидта наполнились слезами — в первый раз за много лет, за всю их долгую, полную крови и лжи жизнь.

— Я убил своего брата, — сказал он просто. — Не рукой, не пулей, а предательством. И теперь, когда его архив всплыл, я знаю: это судьба. Я должен найти его. Искупить вину.

Загорский смотрел на дядю, и в душе его боролись гнев и жалость. Гнев — за отца, за предательство, за годы лжи. Жалость — к этому старому, сломленному человеку, который нес свой крест так долго, что тот уже вьелся в плечи.

— Вы знаете, где может быть архив? — спросил он наконец.

— Не знаю. Но знаю, что человек в сером — тот, кто убил барона, — ищет его. И он думает, что ключ к архиву — в том шифре, который я узнал. Он ошибался. Но он скоро поймет, что ошибся, и начнет искать по-другому.

— Как?

— Он начнет с тех, кто мог знать Петра. С семьи. С нас.

Вечером, когда Лиза уснула, а Петр тихо кряхтел в колыбели, Загорский сидел в кабинете с дядей Карлом. Перед ними на столе лежала карта Петербурга, старая, потрепанная, с пометками, сделанными еще отцом.

Шмидт водил пальцем по улицам, переулкам, каналам.

— Петр любил символы, — говорил он. — Загадки. Он считал, что тайна должна быть красивой, иначе она не стоит того, чтобы ее разгадывать.

— Архив «Сфинкса» — это тайна?

— Это ключ. Ключ ко всем тайнам, которые он знал. Имена предателей, даты, факты, компромат. Если он попадет в чужие руки...

— То, что?

— То рухнут судьбы. Может быть, даже престол.

Загорский помолчал, глядя на карту.

— Где он мог его спрятать? — спросил он. — Если бы вы были им, где бы вы спрятали самое дорогое?

Шмидт задумался.

— В месте, которое для меня свято. В месте, куда я могу вернуться, даже когда всё потеряно. — Он поднял глаза на племянника. — Например, в доме, где я родился. Или в имении, которое любил.

— Имение продано. Дом в Петербурге продан.

— Неважно. Тайники не меняются.

Загорский встал, прошелся по комнате.

— Значит, надо искать. В старых бумагах отца, в его вещах. Может, он оставил след.

— Я помогу, — кивнул Шмидт. — Это мой долг.

В дверь постучали. Вошла Анна — бледная, но спокойная. Она посмотрела на мужа, на дядю Карла, на карту, лежавшую на столе.

— Вы что-то задумали, — сказала она не вопросом, утверждением.

— Ничего опасного, — ответил Загорский, но она не поверила.

— Не ври мне, Алеша. Я тебя знаю.

Она подошла к столу, взяла карту, повертела в руках.

— Это карта отца, да? Старая, с пометками. Вы ищете что-то. Что-то, что связано с бароном, с убийством, с прошлым.

— Анна...

— Я не буду спрашивать, что именно. Я знаю, ты не скажешь. — Она положила карту на место. — Но помни: у тебя есть семья. Дети. Я. Мы ждем тебя живым.

Она повернулась и вышла, не дожидаясь ответа.

Загорский смотрел на закрытую дверь, и в груди теснилась тоска. Он снова сделал ей больно. Снова выбрал работу. И не знал, как это исправить.

— Алеша, — тихо сказал Шмидт. — Ты должен поговорить с ней.

— Не сейчас, дядя. Сначала дело.

— Дело подождет. А семья — нет.

Загорский промолчал. Он знал, что дядя прав. Но он не умел просить прощения. Не умел говорить о чувствах. Умел только действовать, искать, рисковать.

Шмидт, видя его упрямство, вздохнул, поднялся.

— Спокойной ночи, Алеша.

— Спокойной ночи, дядя.

Когда Шмидт ушел, Загорский посидел еще немного, глядя на огонь в камине. Потом встал, подошел к спальне, приоткрыл дверь.

Анна лежала на кровати, отвернувшись к стене. Она не спала — он знал это по дыханию, прерывистому, беспокойному.

— Аннушка, — позвал он тихо.

Молчание.

— Я люблю тебя.

Молчание.

— Я знаю, что я плохой муж. Что я много работаю, мало бываю дома. Что ты боишься за меня. Но без тебя... без тебя я бы сломался давно. Ты моя опора. Моя вера. Моя надежда.

Она повернулась. В глазах ее блеснули слезы.

— Тогда почему ты не можешь быть со мной? Не на час, не на день, а всегда? Почему ты постоянно куда-то бежишь, что-то ищешь, кого-то спасаешь, а меня... меня оставляешь одну?

— Потому что я не умею иначе, — сказал он, подходя, садясь на край кровати, беря ее за руку. — Потому что если я перестану искать правду, то стану никем. Я научен так жить. Прости.

— Не могу, — прошептала она. — Не сейчас. Дай мне время.

Он кивнул, поцеловал ее в лоб, встал.

— Я буду ждать. Сколько понадобится.

Он вышел, тихо притворив дверь. В кабинете его ждали карта, шифр, тайна. А в спальне лежала женщина, которую он любил больше жизни, и между ними была трещина, которую он не знал, как заделать.

Загорский сел за стол, достал чистый лист бумаги, написал:

«Анна. Я не умею писать красивых слов. Но я хочу, чтобы ты знала: ты — моя жизнь. Без тебя — тьма. Я постараюсь измениться. Алеша».

Он положил записку на видное место и снова взялся за карту.

Впереди была ночь. И тайна, которая могла всё разрушить.

Глава 4. Парижский след

Письмо из Парижа пришло через неделю после бала. Загорский узнал конверт — плотная серая бумага, сургучная печать с инициалами «Д.О.», обратный адрес: «Отель Ламбер, набережная Сен-Бернар, Париж». Князь Оболенский не любил писать длинных посланий, предпочитая телефонные переговоры или личные встречи, но в Европе, где каждая линия могла прослушиваться, он доверял только бумаге и верным курьерам.

Загорский вскрыл конверт в кабинете, при свете лампы. На листке было всего несколько строк — плотных, насыщенных, как бульон:

«Дорогой Алексей! Тот, кого ты ищешь, объявился в Париже. Зовут Лекок. Полковник. Бывший жандарм, а ныне — частный детектив самого темного свойства. Он собирает досье на наших общих знакомых. Говорят, у него есть клиент из Лондона, готовый заплатить любую цену за архив С. Мой тебе совет: приезжай. Здесь всё решится. Жду. Оболенский».

Загорский перечитал письмо трижды. «Тот, кого ты ищешь» — Оболенский не называл имен, опасаясь перлюстрации. Но Загорский понял: речь о человеке в сером. О том, кто стоял за убийством барона. О том, кто охотился за архивом отца.

Он подошел к окну. Фонтанка текла вниз, закованная в гранит, серая, спокойная. На том берегу горели окна — кто-то жил своей жизнью, не зная о тайнах, которые прячутся в тенях. Загорский подумал о Париже, о князе Оболенском, о том, что ему придется оставить семью. И о том, что Анна, кажется, уже отвыкла от его отъездов.

В дверь постучали. Вошла Анна — бледная, с кругами под глазами, но держалась прямо. Она не смотрела на него — ни на письмо, ни на лампу, ни на карту Европы, висевшую на стене.

— Ты уезжаешь? — спросила она без выражения.

— Пока не знаю. Возможно.

— Я видела конверт. Из Парижа. Князь зовет? Он всегда тебя зовет, когда нужен.

— Аннушка...

— Не надо, — перебила она, поднимая на него глаза. — Я уже привыкла. Ты уезжаешь, я остаюсь. Ты рискуешь, я жду. Так было, так есть, так будет.

Она повернулась и вышла, не закрыв за собой дверь. Загорский смотрел ей вслед и чувствовал, как между ними снова вырастает стена — невидимая, но прочная, как гранит набережной.

Он знал, что должен что-то сказать, что-то сделать, но слова застревали в горле. Анна была права — он всегда уезжал. Всегда оставлял ее одну с детьми, со страхами, с бессонными ночами. И каждый раз обещал, что это в последний раз. И каждый раз врал.

Он сел за стол, достал чистый лист. Написал: «Я тебя люблю. Я вернусь. Прости меня за всё». Разорвал. Написал снова: «Береги себя. Я скоро». Тоже не то. Вздыхнув, отложил перо. Словами не исправить того, что сломано годами.

Вечером он сидел в кабинете с дядей Карлом. Перед ними лежала карта Европы — раскинутая, как судьба.

— Париж, — сказал Шмидт, водя пальцем по бумаге. — Лекок. Я слышал это имя. В шестидесятом году, перед тем как я ушел в тень, мне рассказывали о нем. Он служил в Третьем отделении, потом уволился, уехал за границу. Говорили, что он перевозил через границу компромат на сановников. Торговал секретами.

— Кто его клиент?

— Не знаю. Но если он в Париже, а Оболенский говорит о Лондоне... возможно, англичане. Они всегда платили щедро.

Загорский задумался.

— Дядя, вы поедете со мной?

Шмидт поднял на него глаза — усталые, с морщинами, которые за последний год стали глубже.

— Поеду, — сказал он. — Это мой долг. Я должен закончить то, что начал много лет назад.

— А Анна?

— А Анна поймет. Или не поймет. Но она женщина, она сильная. Она справится.

Загорский хотел возразить, но не нашел слов. Потому что дядя был прав. Анна была сильной. Но сильные тоже устают.

Шмидт помолчал, потом добавил тихо:

— Ты боишься, что она не простит тебе этой поездки?

— Боюсь.

— Правильно боишься. Женщины не прощают, когда их оставляют. Они могут понять, могут принять, могут ждать. Но прощать — нет. Это слишком тяжело.

— Что же мне делать?

— Быть честным. Сказать ей, зачем ты едешь. Не врать, что это просто служба. Сказать, что это — память об отце. И что ты должен это сделать, иначе не сможешь смотреть на себя в зеркало.

Загорский промолчал, глядя на карту.

— Она не поймет, — сказал он наконец.

— А ты попробуй. Хуже не будет.

Перед отъездом Загорский зашел в спальню. Анна лежала на кровати, отвернувшись к стене. Петр спал в своей комнате, Лиза — в детской. Было тихо.

— Я уезжаю завтра утром, — сказал он. — На неделю. Может, на две.

— Я знаю, — ответила она, не оборачиваясь.

— Анна, посмотри на меня.

Она повернулась. Глаза сухие, лицо спокойное — такое бывает, когда боль притупляется и остается только пустота.

— Что ты хочешь услышать? Что я буду ждать? Я буду. Что я люблю тебя? Я люблю. Что я боюсь? Я боюсь. Что мне обидно? Мне обидно. Но ты всё равно уедешь. Потому что ты — это ты. А я — это я., и мы не можем быть вместе, пока ты не научишься оставаться.

Он сел на край кровати, взял ее за руку.

— Я еду не ради службы, — сказал он тихо. — Я еду ради отца. Ради его памяти. Ради того, чтобы закончить то, что он не успел.

Анна смотрела на него, и в глазах ее мелькнуло что-то — непонимание? Любопытство?

— Какого отца? Твой отец умер давно.

— Я знаю. Но его прошлое... его тайны... они вернулись. И если я не разберусь с ними в Париже, они придут за нами в Петербург.

— Какие тайны?

— Не сейчас. Когда вернусь — расскажу всё. Обещаю.

Она помолчала, потом сказала:

— Ты всегда что-то обещаешь, Алеша. А потом забываешь.

— Не забуду. Клянусь.

— Не клянись. Просто возвращайся.

Он наклонился, поцеловал ее в лоб, встал.

— Я вернусь. Обязательно.

— А если нет? — спросила она, глядя ему в спину. — Что тогда?

Он обернулся, посмотрел на нее долгим взглядом.

— Тогда знай: я любил тебя больше жизни. И детей. И всё, что делал — делал ради вас.

Он вышел, закрыв за собой дверь. В прихожей его ждал чемодан — маленький, кожаный, с медными уголками. Егоров суетился рядом, проверял документы, билеты, деньги.

— Ваше превосходительство, — сказал он, — я бы с вами, но жена...

— Оставайся, Егоров. Здесь нужен свой глаз. Присмотри за Анной, за детьми. Если что — телеграфируй.

— Слушаюсь.

Загорский надел шинель, взял чемодан. В дверях обернулся. Квартира казалась пустой и чужой — без смеха Лизы, без топота Петра, без тихого голоса Анны. Он почувствовал, как что-то сжалось в груди, но пересилил.

— Я скоро, — сказал он в пустоту.

Никто не ответил.

Поезд на Берлин отходил в восемь утра. Загорский и Шмидт сидели в купе первого класса — мягкие диваны, чистое белье, занавески с кистями. За окном мелькали снежные поля, редкие деревья, заснеженные станции с зевающими носильщиками.

— Ты волнуешься, — заметил Шмидт, доставая из портфеля книгу.

— Нет. Думаю.

— О чем?

— О том, что мы найдем в Париже. И о том, что оставили в Петербурге.

Шмидт положил книгу на колени.

— Алеша, я прожил долгую жизнь. И знаю одно: прошлое нельзя исправить, можно только искупить. Ты едешь искупать вину отца. Это благородно. Но не забывай: у тебя есть настоящее. И оно ждет.

— Дядя, — спросил Загорский после долгого молчания. — Вы знали моего отца по настоящему? Не как брата, а как человека? Каким он был?

Шмидт долго молчал, глядя на снег за окном.

— Он был сложным, — сказал наконец. — Упрямым, как ты. Честным до жестокости. Он любил мать — твою мать — такой любовью, которая не прощает ошибок. Он любил Россию — такой любовью, которая не прощает предательства. И он любил меня... наверное, тоже любил. Но не умел показать.

— Вы думаете, он простил бы вас? За то, что вы сделали?

Шмидт усмехнулся — горько, безрадостно.

— Не знаю. И никогда не узнаю. Мертвые не прощают. Мертвые молчат.

Они замолчали, каждый думал о своем. Поезд стучал колесами, унося их на запад. Вдалеке вставал рассвет — бледный, холодный, как сама дорога.

Париж встретил их серым небом и морозящим дождем. Город казался чужим — шумным, многолюдным, пахнущим кофе и бензином. Отель «Ламбер» на набережной Сен-Бернар оказался старым особняком, перестроенным в гостиницу, с лепниной на фасаде и коваными решетками на окнах.

Князь Оболенский ждал в холле — в дорогом сюртуке, с неизменной тростью и сигарой. Он постарел за последние месяцы — седина пробивалась в висках, лицо осунулось, но глаза остались такими же — живыми, насмешливыми, всё замечающими.

— А, Алексей! — воскликнул он, обнимая друга. — А это, верно, дядя Карл? Наслышан. Рад познакомиться.

Шмидт кивнул, не протягивая руки. Он не привык к таким приветствиям.

— Пойдемте наверх, — сказал Оболенский. — Там поговорим.

Номер князя был просторным — гостиная, спальня, кабинет, вид на Сену. Оболенский разлил коньяк по рюмкам, закурил новую сигару, сел в кресло.

— Лекок, — начал он без предисловий. — Настоящее имя — Сергей Петрович Лекошев. Бывший подполковник корпуса жандармов. Уволился в 1856-м, после коронации. Причина

— темная история с шантажом. Он собирал компромат на начальство, а когда его раскрыли, предложил выбор: либо суд, либо отставка с правом выезда за границу. Выбрал второе.

— И с тех пор он в Париже? — спросил Загорский.

— Да. Открыл частное детективное агентство. Но это прикрытие. На самом деле он торгует секретами. У него есть досье на сотни русских эмигрантов, чиновников, даже великих князей. Он продает информацию тому, кто больше платит.

— И сейчас он продает англичанам?

Оболенский выпустил клуб дыма, посмотрел на потолок.

— Не англичанам. Одному англичанину. Банкиру, который действует в интересах британской разведки. Зовут лорд Уоллес. Тот самый, что приезжал к тебе в Дрезден. Помнишь?

Загорский похолодел. Уоллес — тот самый англичанин, который предлагал купить документы дяди Карла. Который угрожал, предупреждал, исчез. А теперь снова объявился.

— Что ему нужно?

— Архив «Сфинкса». — Оболенский затушил сигару. — Лорд Уоллес собирает русские секреты. Он хочет ослабить Россию, чтобы расширить британское влияние в Европе. И архив «Сфинкса» — идеальный инструмент.

— Почему?

— Потому что там имена русских агентов, которые работали в Англии, Франции, Пруссии. Если эти имена станут известны, дипломатические отношения рухнут. Начнутся скандалы, отставки, может быть, даже война.

Загорский помолчал, переваривая.

— Откуда Лекок узнал об архиве?

— Не знаю. Возможно, от кого-то из бывших коллег. Или от самого Дюбуа — того самого французского агента, которого ты... встретил в Петербурге. Они могли работать вместе.

Шмидт, до того сидевший в углу, подал голос:

— Дюбуа мертв. Он застрелился.

— Мертв, — кивнул Оболенский. — Но информацию мог передать раньше.

— Что нам делать? — спросил Загорский.

— Встретиться с Лекоком. Поговорить. Узнать, что ему известно. И если получится — перекупить архив. Деньги у нас есть.

— А если не получится?

Оболенский усмехнулся, но глаза остались холодными.

— Тогда — как всегда. Твои методы.

Вечером Загорский сидел у окна, глядя на Сену. Париж подсвечивался огнями, город казался красивым и чужим. Он думал об Анне, о Лизе, о Петре. О том, что оставил их в Петербурге без защиты. О том, что Егоров — хороший человек, но против шпионов не устоит.

— Беспокоишься? — спросил Шмидт, подходя.

— Беспокоюсь.

— Напрасно. Анна умная. Она справится.

— А если нет?

Шмидт положил руку ему на плечо.

— Тогда мы вернемся и поможем. Но сначала надо закончить здесь.

Загорский кивнул. Дядя был прав. Сначала Париж. Потом Петербург.

На следующий день они отправились в агентство Лекока. Оно располагалось в старом доме на левом берегу, в узком переулке, пахнушем плесенью и кошками. Дверь открыла горничная — старая, морщинистая, с подозрительным взглядом.

— Полковник Лекок принимает только по записи.

— Передайте: русские. По делу о Сфинксе.

Горничная исчезла, вернулась через минуту и провела их в кабинет.

Кабинет оказался маленьким, заваленным бумагами, с единственным окном во двор. За столом сидел человек лет пятидесяти — седой, поджарый, с острым носом и холодными серыми глазами. В петлице сюртука — орденская ленточка, но без знака. Лекок.

— Садитесь, — сказал он по-русски с легким акцентом. — Я знаю, кто вы. Господин Загорский, начальник Особой канцелярии. Князь Оболенский, дипломат. И... — Он перевел взгляд на Шмидта. — Карл фон Клейст. Бывший агент. Живой, как вижу. А говорили, умер.

— Слухи преувеличены, — спокойно ответил Шмидт.

Лекок усмехнулся, откинулся на спинку кресла.

— Что привело вас ко мне?

— Архив «Сфинкса», — сказал Оболенский. — Мы знаем, что он у вас. Или вы знаете, где он.

— Допустим. А что дальше?

— Мы хотим его купить.

Лекок рассмеялся — сухо, без веселья.

— Купить? У меня? Вы знаете, сколько предложений я уже получил? Англичане дают сто тысяч фунтов. Сто тысяч, господа. У вас есть такие деньги?

— У нас есть другое, — вмешался Загорский. — Жизнь. Ваша.

Лекок перестал смеяться.

— Вы угрожаете мне, господин Загорский? В моем собственном кабинете? В стране, где я под защитой закона?

— Я напоминаю вам, что рано или поздно вы вернетесь в Россию. Или не вернетесь. Но ваши родственники там. Ваши друзья. Ваши тайны. Мы найдем способ сделать вам больно.

В кабинете повисла тишина. Лекок смотрел на Загорского, и в глазах его мелькнуло что-то — страх? уважение?

— Вы смелый человек, — сказал он наконец. — Но смелость не заменит денег.

— А правда? — спросил Шмидт. — Вы знаете, что такое правда? Это когда ваши клиенты из Лондона узнают, что вы торгуете не только секретами, но и фальшивками. Потому что архив, который вы продаете, — подделка. Настоящий архив у нас.

Лекок побледнел.

— Врете.

— Проверьте, — спокойно ответил Шмидт. — У вас есть контакты в Петербурге. Спросите их. Они подтвердят: настоящие документы хранятся в сейфе Особой канцелярии. А то, что вы собираетесь продать, — искусная подделка. Наши эксперты работали над ней месяц.

Загорский смотрел на дядю и восхищался его хладнокровием. Никакого архива у них не было. Но Лекок этого не знал.

— Вы блефуете, — сказал Лекок, но голос его дрогнул.

— Хотите рискнуть? — спросил Оболенский. — Сто тысяч фунтов — большие деньги. Но если англичане узнают, что их обманули, они не заплатят. Они пришлют убийц. Вы знаете, как они это делают.

Лекок молчал. Потом встал, подошел к окну.

— Что вы предлагаете? — спросил он, не оборачиваясь.

— Сотрудничество, — сказал Загорский. — Вы даете нам информацию о вашем клиенте. Мы даем вам гарантию, что ваше прошлое останется в прошлом. И деньги. Достаточно, чтобы жить припеваючи.

— Сколько?

— Десять тысяч фунтов.

— Мало.

— Пятнадцать. Или ничего.

Лекок повернулся. В глазах его была усталость человека, который слишком долго играл с огнем.

— Согласен, — сказал он. — Но сначала — деньги. И гарантии.

— Гарантии будут, — пообещал Оболенский. — Деньги — завтра.

Они вышли. На улице моросил дождь, пахло мокрым асфальтом и жареными каштанами.

— Он согласился, — сказал Оболенский. — Слишком легко.

— Он испугался, — ответил Шмидт. — За свою жизнь. За деньги. И за то, что его раскроют.

— Или он играет с нами, — заметил Загорский. — Время покажет.

Они пошли вдоль Сены, молча, каждый думая о своем. Загорский смотрел на серую воду и думал о доме. Об Анне, которая ждет. О детях, которые растут без него. О том, что Париж — только начало. А конец — в Петербурге. И этот конец будет страшным.

Но он не знал, насколько страшным.

Ночью Загорский не спал. Сидел у окна, смотрел на огни Парижа, писал письмо Анне. Не о любви — о деле. О том, что скоро вернется. О том, что всё будет хорошо. Он врал. И знал, что врет. Но не мог иначе.

«Аннушка, родная моя. Не спится мне. Всё думаю о тебе, о Лизе, о Петре. Париж красивый, но чужой. И я хочу домой. Но не могу, пока не закончу. Прости меня за все ночи, которые я не был с тобой. За все слезы, которые ты пролила. Я обещаю: когда вернусь, мы уедем в Дрезден. Отдохнем. Побудем вместе. Я больше не буду пропадать. Люблю. Жди. Твой А.»

Он перечитал, подумал, разорвал. Слишком сладко. Слишком фальшиво. Анна не поверит. Она знала его слишком хорошо.

Под утро он заснул — тяжелым, беспокойным сном, где снились пустые глаза человека в сером, барон фон Розен с тоскующим взглядом и отец, которого он никогда не знал настоящим.

А в Петербурге, в квартире на Фонтанке, Анна лежала без сна и слушала, как тикают часы. В соседней комнате спала Лиза, обняв куклу. Петр кряхтел в колыбели. И тишина давила на плечи.

Она думала о муже, которого любила, но не понимала. О мужчине, который всегда бежал от дома — к правде, к справедливости, к призракам. О том, что, наверное, никогда не изменится. И о том, что готова жить с этим. Потому что любить — это не требовать. Любить — это отпустить. И ждать.

Глава 5. Под прицелом

Петербург встретил их затяжными дождями и ледяным ветром с залива. Загорский вернулся из Парижа через неделю — усталый, злой, с пустыми руками. Лекок взял деньги, дал кое-какие имена, но главное — архив, сам архив «Сфинкса» — оставался неуловимым. Старый жандарм либо не знал, где он, либо играл с ними в кошки-мышки.

Поезд остановился у перрона Варшавского вокзала в восьмом часу утра. За окном моросил дождь — тот самый петербургский дождь, который идет неделями, проникает под воротник и въедается в кости. Загорский стоял у окна купе, смотрел на знакомый город, и чувствовал, как усталость отпускает. Париж остался позади — с его шумом, суетой, ложью. Здесь, в этом сером, промозглom, но родном городе, он был нужен. Здесь ждали.

— Он нас обманул, — сказал Шмидт, когда они вышли на перрон. — Я чувствовал это с самого начала.

— Или обманул не он, — ответил Загорский, глядя на небо. — Может, архива вообще не существует. Может, это выдумка. Легенда, которой пугают детей.

— Нет, — покачал головой Шмидт. — Архив существует. Я знаю брата. Он не мог не оставить следа. Всё, что он делал, он делал основательно. Навсегда.

Загорский не ответил. Ему надоели загадки. Надоели тайны. Надоел Париж с его дождями и враньем. Он хотел домой — к Анне, к детям, к тишине, которой так долго избегал. Но дома его ждало нечто иное.

— В карету, ваше превосходительство? — спросил Егоров, встречавший их на перроне.

— Домой, Егоров. На Фонтанку.

Квартира на Фонтанке встретила их запахом пирогов и детским смехом. Лиза носилась по коридору, изображая лошадку, Петр ползал за ней, пытаясь ухватить за хвост воображаемую гриву. Елена Карловна хлопотала у самовара, Анна сидела в кресле с вязанием — живот уже заметно округлился, лицо было бледным, но спокойным.

— Папа! — закричала Лиза, бросаясь ему на шею. — Ты привез мне подарок?

— Привез, дочка. — Он достал из чемодана куклу в парижском наряде — кружева, шляпка, маленький зонтик. Лиза ахнула, прижала к груди и умчалась показывать своей воображаемой подруге. Загорский усмехнулся. Дети быстро забывают разлуку. Взрослые — нет.

Анна поднялась, подошла к мужу, поцеловала в щеку — сухо, как целуют дальних родственников на именинах.

— Как Париж? — спросила она.

— Скучно, — ответил он. — И дождливо.

— Как здесь.

— Здесь лучше. Здесь ты.

Она хотела что-то сказать, но промолчала, вернулась в кресло, взяла вязание. Спицы застучали быстро, нервно. Загорский смотрел на нее и чувствовал: стена между ними стала выше. Париж не помог. Отъезд не помог. Он уехал, чтобы спасти семью, а вернулся — чтобы понять: семья спасается не дальними поездками, а близостью. Которой он не умел дать.

— Устал? — спросила Елена Карловна, наливая ему чаю.

— Устал, маменька. И голоден.

— Садись, я пирогов напекла. С рыбой, с капустой, с яйцом.

Он сел за стол, съел два пирога, выпил чашку чая, потом вторую. Дом грел. Люди грели. Даже стук спиц Анны успокаивал — ритмичный, привычный, как стук колес поезда, только ведущий домой.

— Алеша, — позвала Анна, когда он допивал третью чашку. — Ты не рассказывал, зачем ездил.

— Потом, — ответил он, отводя глаза. — Не сейчас.

Она кивнула, не настаивая. Спицы застучали быстрее.

Ночью он не спал. Сидел в кабинете, перебирал бумаги, которые привез из Парижа, — копии документов, купленные у Лекока за бешеные деньги. Имена, даты, факты. Ничего нового. Только подтверждение того, что он уже знал: отец был агентом. Архив существует. Кто-то охотится за ним. И этот кто-то очень близко.

Бумаги были старые — некоторые пожелтели, чернила выцвели. Загорский вчитывался в строчки, пытаясь найти то, что упустил Лекок, то, что тот не захотел продавать. Но строчки молчали. Имена ничего не говорили. Даты ничего не значили.

— Ты не ложился? — раздался голос Анны.

Она стояла в дверях, закутавшись в халат, босая, сонная. Живот уже не скрыть — она держалась за поясницу, тяжело дышала. Ребенок давил.

— Не мог, — ответил он.

— Из-за Парижа?

— Из-за всего. Из-за тебя. Из-за детей. Из-за прошлого, которое не отпускает.

Она подошла, села на край стола, тяжело, осторожно, как садятся на хрупкое. Повезло — стол был дубовый, массивный, отцовский еще. Ничего не треснуло.

— Я хочу знать, Алеша. Что происходит? Почему ты уезжаешь? Что ищешь? Кого боишься?

— Я не боюсь.

— Врешь. Я вижу. Ты боишься за нас. За детей. За меня. И правильно делаешь.

Он поднял глаза, встретился с ней взглядом. В ее глазах была усталость, но не было упрека. Было что-то другое — принятие? Понимание? Или просто смирение?

— Откуда ты знаешь? — спросил он.

— Я жена, — просто ответила она. — Я всё знаю. Когда муж встает по ночам, когда не спит, когда смотрит в окно так, будто ждет кого-то... я знаю. Он боится. Не за себя. За нас.

Он молчал долго, потом начал рассказывать. Об отце, о «Сфинксе», о Париже, о Лекоке. Не всё — только то, что не было государственной тайной. Но достаточно, чтобы Анна поняла: опасность реальна. Не где-то там, в Европе, а здесь, рядом, в их городе, на их улице, у их дверей.

— Значит, этот архив — ключ ко всему? — спросила она, когда он замолчал.

— Ключ. И бомба. Если он попадет в чужие руки, пострадают многие. Возможно, даже мы.

— А если мы его найдем?

— Тогда, может быть, всё утихнет. Или станет еще хуже. Я не знаю.

Она встала, подошла к окну, выглянула на темную улицу. Фонарь горел тускло, освещая мокрый тротуар. Тени метались, как живые.

— Алеша, — сказала она, не оборачиваясь. — Ты должен его найти. Не ради службы, не ради отца. Ради детей. Чтобы они могли спать спокойно.

— Я знаю.

— И еще... — Она обернулась, посмотрела ему в глаза. — Я не сержусь на тебя. За отъезд. За то, что ты меня не слушаешь. Я понимаю. Но обещай мне одно: если станет слишком опасно, ты остановишься. Ради нас.

— Обещаю, — сказал он, хотя знал, что не сдержит обещания. Он никогда не умел останавливаться. Это было его проклятием и его силой.

Она тоже это знала. Но промолчала.

Утро следующего дня началось как обычно: Лиза капризничала за завтраком, требуя кашу без комочков, Петр размазывал кашу по столу, издавая победные крики, Елена Карловна гремела посудой, ворча на нерадивую кухарку. Анна была бледнее обычного — ночь далась ей тяжело. Загорский пил кофе и листал газету, когда в дверь позвонили.

— Ваше превосходительство, — Егоров стоял на пороге, бледный, с трясущимися губами. — Случилось... несчастье.

Загорский вышел в прихожую, закрыл за собой дверь.

— Что?

— Лиза... она ехала в коляске с гувернанткой. На Невском лошадь понесла... Ее напугали. Кто-то бросил петарду под ноги.

Загорский почувствовал, как кровь отливает от лица.

— Девочка жива?

— Жива, слава Богу. Гувернантка ушиблена, но легко. Коляска разбита. Лиза... она плачет, но цела. Я сам видел.

Он перевел дыхание. Сердце колотилось где-то в горле.

— Где она?

— У соседей. Анна Григорьевна уже там. Я прибежал за вами.

Они вышли на улицу. У подъезда толпились зеваки, дворник рассказывал что-то городовому, размахивая руками. Загорский не слушал. Он бежал через двор, не разбирая дороги, перепрыгивая через лужи, расталкивая прохожих. Егоров едва поспевал за ним.

Квартира соседей — старухи графини, которая жила этажом выше — была полна народа. Анна сидела на диване, прижимая к себе плачущую Лизу. Елена Карловна суежилась с вальерьянкой. Доктор, вызванный Егоровым, щупал пульс девочки и успокаивал мать.

— Лизанька, — Загорский опустился на колени, взял дочь за руки. Они были холодные, дрожали. — Ты цела? Больно где-нибудь?

— Папа! — Лиза бросилась ему на шею, дрожа всем телом, как птичка, попавшая в бурю. — Там... там бахнуло! Лошадь закричала! Аня упала! Я испугалась! Очень испугалась!

— Тш-ш-ш, — он гладил ее по голове, целовал в макушку, чувствовал ее слезы на своей щеке. — Всё прошло. Ты жива. Я рядом. Никто тебя больше не обидит.

Анна смотрела на него поверх Лизы, и в глазах ее был ужас, который не скрыть никакими словами. Ужас матери, которая чуть не потеряла ребенка.

— Это не случайность, — сказала она тихо, так, чтобы никто не слышал. — Ты знаешь.

— Знаю, — так же тихо ответил он. — И я найду того, кто это сделал. Клянусь.

Доктор ушел, прописав покой и капли. Лизу уложили в постель, Аня — гувернантка — сидела рядом с перевязанной рукой и плакала. Анна, Елена Карловна и Загорский вышли в гостиную. Дверь закрыли.

— Алеша, что происходит? — спросила мать, ломая руки. — Кому понадобилось пугать ребенка? Кто посмел?

— Не пугать, — ответил он жестче, чем хотел. — Предупреждать.

— О чем? О чем можно предупреждать, угрожая ребенку?

— Не знаю еще. Но скоро узнаю.

В дверь позвонили. Егоров, вернувшийся с места происшествия, протянул Загорскому конверт — мятый, грязный, с пятнами от воды.

— Это нашли в коляске. После того, как лошадь понесла. Под сиденьем. Кто-то подбросил.

Загорский взял конверт дрожащими руками. Внутри — лист бумаги, на котором печатными буквами было выведено:

«Отдай бумаги отца, или следующим будет твоя жена, господин Загорский»

Он прочитал, перечитал, потом передал Анне. Та побледнела еще больше, но не заплакала. Только губы сжала, чтобы не закричать.

— Бумаги отца? — переспросила она, стараясь говорить ровно. — У тебя есть бумаги отца?

— Нет, — ответил он. — Но кто-то думает, что есть. Кто-то охотится за призраком.

— Кто? Кто это сделал?

— Тот, кто охотится за архивом «Сфинкса». Тот, кто убил барона. Тот, кто теперь пришел за нами.

Он убрал письмо в карман, вышел в прихожую. Егоров ждал.

— Что говорят свидетели? — спросил Загорский.

— Ничего, ваше превосходительство. Говорят, что лошадь понесла, но кто бросил петарду — никто не заметил. Слишком много людей на Невском. Толпа, давка.

— А кучер?

— Говорит, что какой-то господин в сером пальто стоял у тротуара, а когда лошадь понесла, исчез. Растворился, как туман. Ни лица, ни примет.

Человек в сером. Тот самый. Лекок? Или его наемник? Или кто-то другой, более опасный, более близкий? Загорский не знал, но чувствовал: нить ведет к тому, кто за всем стоит. И этот кто-то — не человек. Это тень. Тень прошлого, которая протянулась через годы и теперь душит его семью.

— Егоров, — сказал он. — Усиль охрану. У дома, у квартиры, у детей. Я не хочу, чтобы это повторилось. Чтобы кто-то еще пострадал.

— Сделаю, ваше превосходительство. Своих людей поставлю. И из участка попрошу.

— А вы? — Егоров помялся, потом спросил: — Вы куда теперь, ваше превосходительство?

— А я поеду к графу Панину. Пора поговорить серьезно. Пора действовать.

Кабинет графа Панина на Фонтанке был залит светом — несмотря на дождливый день, настольная лампа горела вовсю, отбрасывая желтые блики на полированный дуб. Граф сидел за столом, разбирал бумаги. Увидев Загорского, поднял голову, нахмурился.

— Что стряслось, Алексей Петрович? Вид у вас такой, будто вы с того света вернулись.

— Покушение на мою дочь. И письмо с угрозами. — Он положил конверт на стол. — Читайте.

Панин прочитал, нахмурился сильнее.

— Это связано с архивом «Сфинкса»? С той историей, о которой вы мне рассказывали?

— Связано. Я был в Париже, встречался с Лекоком. Он дал информацию, но не главное. Кто-то охотится за архивом раньше нас. И этот кто-то угрожает моей семье. Он уже пытался убить мою дочь, ваше сиятельство. В следующий раз может быть хуже.

— Что вы хотите от меня? — спросил Панин, отодвигая бумаги.

— Разрешения действовать. Официально. И помощи. Мне нужны люди, чтобы охранять семью. И мне нужно найти того, кто за этим стоит. Быстро. Пока не поздно.

Панин подошел к окну, постоял, глядя на Фонтанку. Дождь стучал по стеклу, по подоконнику, по карнизу. Где-то внизу проплыла баржа, тяжелая, груженная дровами.

— Хорошо, — сказал он, оборачиваясь. — Я дам вам людей. И дам карт-бланш. Но помните: это дело — государственной важности. И если вы ошибетесь...

— Я не ошибусь, ваше сиятельство. Не имею права.

— Дай Бог, — перекрестился Панин. — Дай Бог.

Вернувшись домой, Загорский застал Анну в детской. Она сидела на краю кровати Лизы, гладила дочку по голове и тихо напевала старую колыбельную — ту самую, которую пела когда-то мать. Свет лампы падал на спящую девочку — щеки розовые, ресницы дрожат, во сне еще всхлипывает, переживая ужас дня.

— Уснула? — спросил он с порога.

— Только что, — Анна подняла глаза — красные, опухшие. — Час металась, кричала. Боялась, что лошадь опять придет.

— Пройдет.

— Пройдет ли? — она встала, подошла к нему, тяжело, опираясь на поясницу. Живот уже мешал двигаться свободно. — Алеша, это только начало. Ты знаешь. Дальше будет хуже.

— Знаю. — Он обнял ее, прижал к себе, чувствуя, как дрожит она — от страха, от усталости, от бессилия. — Но я справлюсь. Обещаю.

— Не обещай. Ты не умеешь обещать. Ты умеешь делать. Просто защити нас. Сделай что-нибудь. Я не хочу потерять еще одного ребенка. Я не переживу.

— Защищу. Клянусь. Сделаю всё, что в моих силах.

Они стояли так, в темноте, слушая тихое дыхание спящей девочки. Петр кряхтел в своей комнате — нянька укачивала его, напевая что-то монотонное. Елена Карловна возилась на кухне, гремела посудой. И тишина давила, как свинцовая плита.

Вечером Загорский вызвал в кабинет дядю Карла. Шмидт вошел бесшумно, сел в кресло, сложил руки на коленях.

— Вы видели письмо? — спросил Загорский.

— Видел. — Шмидт был бледен, руки его дрожали. — Это моя вина, Алеша. Я навлек эту беду на твою семью. Если бы не я, если бы не мое прошлое...

— Не ваша вина, дядя. Отца. И того, кто охотится за его тайной. Они пришли не из-за вас. Они пришли из-за наследия, которое мы не можем отбросить.

— Что будем делать?

— Искать. Быстрее, чем они. У нас есть нить. — Загорский достал из сейфа дневник отца, тот самый, что нашли в кабинете. — Лекок сказал, что архив может быть в имении отца. В том самом, которое продано. Но дневник говорит другое. Он говорит, что архив здесь. В этом доме.

— Здесь? — Шмидт подался вперед. — Но мы обыскивали всё. Кабинет, библиотеку, спальни...

— Не всё. Есть еще подвал. И чердак. И тайники, которые мы не нашли.

— Тайники? Откуда ты знаешь?

— Отец любил загадки, — сказал Загорский. — И он был из тех, кто всегда оставляет след. Мы найдем. Обязательно.

— Когда начнем?

— Завтра с утра. Сегодня я должен быть здесь, с семьей.

Шмидт кивнул, поднялся.

— Я приготовлю всё. Фонари, инструменты. Будем искать.

Он вышел, а Загорский остался один. Перед ним на столе лежало письмо — угроза, которая могла стать реальностью в любой момент. Он взял перо, написал:

«Анна. Если со мной что-то случится, вот адрес сейфа. Там лежат документы, которые могут защитить вас. Спрячь их. Покажи дяде Карлу. Он знает, что делать. Прости, что втянул тебя в это. Прости за все ночи, которые я не был с тобой. Прости, что не умею быть мужем. Люблю. А.»

Он спрятал записку в книгу, на самую видную полку — томик Пушкина, который Анна часто перечитывала перед сном. Она найдет. Если понадобится.

Ночь прошла беспокойно. Загорский метался по кабинету, пил остывший кофе, курил папиросу за папиросой. За окном шумел дождь — ровно, монотонно, как заведенный механизм. Шмидт сидел в углу, перебирал старые бумаги — записи отца, которые удалось найти в архивах.

В третьем часу ночи Шмидт подал голос:

— Алеша, иди сюда.

Загорский подошел. Шмидт держал в руках тетрадь — старую, потрепанную, с кожаной обложкой, потертой на углах.

— Дневник, — сказал он. — Двадцатилетней давности. Твой отец писал его в Севастополе, перед самой смертью. Я нашел его в сундуке на чердаке. Там же, где старые письма.

Загорский взял тетрадь — она пахла пылью, временем и еще чем-то неуловимым — может быть, порохом? А может, просто сыростью.

Открыл на первой странице. Почерк отца — мелкий, аккуратный, с завитушками — был знаком с детства.

«1855, октябрь. Севастополь. Если это найдут после моей смерти, значит, я не вернулся. Архив "Сфинкса" спрятан в месте, которое знает только моя семья. Дом на Фонтанке, кабинет, третий кирпич от печи. Там — ключ. А ключ ведет к тайнику. Там — всё. Берегите. Петр Загорский».

— Дом на Фонтанке? — переспросил Загорский, поднимая глаза. — Но здесь казенная квартира. Мы живем здесь всего полгода. Как архив может быть здесь?

— Раньше здесь жил твой отец. — Шмидт поднял на него глаза. — Эта квартира принадлежала ему. Он получил ее от казны в сорок восьмом году. После его смерти её конфисковали, потом отдали другому чиновнику, потом снова вернули в казну. И теперь ты здесь. Случайность?

— Судьба, — тихо сказал Загорский. — Или проклятие.

Они переглянулись. Тайна была рядом — в стенах, которые окружали их каждую ночь, в кирпичах, которые помнили отца, в печи, у которой он грелся зимними вечерами.

— Идем, — сказал Загорский. — Сейчас. Я не могу ждать до утра.

Кабинет был таким, как всегда — книги, карты, стол, камин. Печь, сложенная из старых кирпичей, стояла в углу, выкрашенная белой краской. Загорский отсчитал третий ряд, надавил на кирпич. Тот даже не шелохнулся.

— Сильнее, — сказал Шмидт.

Загорский надавил еще раз, потом еще. Кирпич не поддавался.

— Может, не тот ряд?

— Третий от печи. Я считал.

Они попробовали четвертый, пятый, второй. Ничего. Загорский уже отчаялся, когда Шмидт вдруг сказал:

— А что, если "от печи" — значит "от левого края"? В старых домах печи иногда считали от угла, а не от центра.

Загорский отсчитал третий кирпич от левого угла печи, надавил.

Кирпич подался. Медленно, со скрежетом, он вошел внутрь стены, открывая пустоту. Небольшую нишу, в которой лежал сверток, обернутый промасленной тканью.

— Есть! — выдохнул Загорский.

Он вытащил сверток, положил на стол. Руки дрожали. Шмидт подошел ближе, замер в ожидании.

Загорский развернул ткань. Внутри — еще один ключ, старый, бронзовый, с затейливой бородкой, похожий на те, что открывают старинные шкатулки. И записка — маленький клочок бумаги, пожелтевший от времени, с надписью, сделанной отцовской рукой:

«Имение под Петербургом. Подвал. Третий камень от входа. П.З.»

— Теперь ясно, — сказал Шмидт. — Архив в старом имении. Там, где мы были с тобой ребенком. Где твой отец прятался от мира.

— Завтра едем, — кивнул Загорский. — Чуть свет. Но сначала — спать. Несколько часов.

Они разошлись. На востоке уже серело, дождь стихал, и город затихал перед рассветом. Загорский зашел в спальню, лег рядом с Анной, не раздеваясь. Она даже не проснулась — только вздохнула во сне и прижалась к нему, ища тепла.

Завтра, — подумал он, глядя в потолок. — Завтра всё решится. Или не решится. Или станет еще хуже.

Он закрыл глаза и провалился в темноту — без снов, без страхов, без мыслей. Пустую, как пропасть, из которой нет возврата.

Глава 6. Тайна отца

Имение под Петербургом находилось в тридцати верстах от города, по Петергофской дороге, — старый, запущенный парк, пруд, заросший ряской, и двухэтажный дом с колоннами, который помнил еще екатерининские времена. Загорский бывал здесь ребенком, но память стерла детали, оставив лишь смутные образы: скрипучая лестница, запах старого дерева, библиотека, где отец проводил вечера, и сад, в котором он играл с сестрой — той самой, что умерла от скарлатины еще до Крымской войны, о которой в доме запрещено было говорить вслух.

Карета подъехала к воротам на рассвете. Дождь, наконец, кончился, небо очистилось, но ветер с залива дул пронзительный, холодный — такой, что пробирал до костей, заставлял кутаться в шинель и жалеть, что не взял с собой второго шарфа. Загорский, Шмидт и Егоров вышли, огляделись. Парк казался мертвым — голые деревья, черные стволы, кусты, спутанные плющом, дорожки, засыпанные прошлогодней листвой, мокрой, склизкой. Дом стоял на пригорке, мрачный, с заколоченными окнами, похожий на склеп — или на засаду.

— Здесь, — сказал Шмидт, глядя на фасад. — Здесь началась наша история. И здесь она должна закончиться.

— Кто сейчас владелец? — спросил Егоров, озираясь по сторонам. Рука его лежала на кобуре — привычка, оставшаяся с тех пор, как он начал работать с Загорским.

— Дальний родственник, — ответил Шмидт. — Троюродный брат отца. Он живет в Петербурге, в имении не бывает. Я договорился, он дал ключи. Сказал, что всё равно продает дом — никто не покупает, слишком дорого содержать.

— Счастливый человек, — заметил Загорский. — Продать прошлое. Я бы купил.

— Не продавай, — посоветовал Шмидт. — Прошлое нужно знать. Даже если оно болит.

Они подошли к крыльцу. Ступени скрипели, перила шатались — дерево сгнило, кое-где провалилось, в дырах чернела пустота. Загорский вставил ключ в замок — тот повернулся с трудом, с хрустом, будто нехотя, будто дом не хотел впускать чужих.

Дверь отворилась, и их обдало запахом — пыли, сырости, запустения, и еще чем-то сладковатым, тошнотворным. Внутри было темно. Егоров зажег фонарь, и желтый свет выхватил из темноты высокий потолок, лепнину, облупившуюся краску, портреты предков на стенах — строгие, чужие, с глазами, которые, казалось, следили за каждым шагом. На одном из портретов Загорский узнал деда — тот же подбородок, те же скулы, что и у отца. И у него самого.

— Библиотека на втором этаже, — сказал Шмидт. — Я помню. Там, в правом крыле. Когда мы были детьми, отец запрещал нам туда заходить. Говорил, что там хранятся важные бумаги.

— Важные бумаги, — повторил Загорский. — Тогда он не врал.

Они поднялись по лестнице, которая жалобно скрипела под ногами, будто живая, будто пыталась предупредить о чем-то. Егоров шел первым, освещая путь, револьвер наготове. Загорский — следом, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле, как ладони потеют, как каждый шорох заставляет вздрагивать. Шмидт замыкал шествие, тихий, сосредоточенный, как перед боем — или перед смертью.

Библиотека оказалась большой, с высокими окнами, выходившими на парк. Книжные шкафы — красного дерева, до потолка — стояли вдоль стен, тесные ряды, будто солдаты на параде. Посередине — тяжелый дубовый стол, на нем — подсвечник с огарком свечи, застывшие капли воска, похожие на слезы. Стены были увешаны картами — старыми, пожелтевшими, с непонятными пометками, сделанными красным карандашом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.